

Милая,
Ах, приди,
Чтобы со мною быть,
Как в те майские дни.

Пролог

На знаменитом холме Монмартр в центре Парижа, где на площади Тертр вокруг уличных художников, выставляющих свои сомнительного достоинства творения, толпятся туристы, где весной по оживленным улочкам гуляют, взявшись за руки, влюбленные, а устав, присаживаются на ступеньках базилики Сакре-Кёр отдохнуть и полюбоваться раскинувшимся перед ними городом, пока он, розовея в последних лучах заката, не погрузится в ночную тьму, — так вот, на этом холме есть еще и свое кладбище. Это кладбище очень старинное, с многочисленными дорожками и широкими тенистыми аллеями, укрытыми развесистыми кленами и липами, и у каждой дорожки, как у настоящих городских улиц, имеется свое название и нумерация. В этом маленьком городке очень тихо. Среди тех, кто здесь похоронен, есть и знаменитости, а есть и совсем неизвестные. Есть могилы с величественными надгробиями и статуями ангелов, облаченных в длинные каменные одеяния, они стоят, простирая руки и устремив взор к небесам.

На кладбище входит темноволосый мужчина. Он ведет за ручку маленького мальчика и останавливается у ничем не знаменитой могилы. Тот, кто в ней похоронен, ничем не прославился. Это не писатель, не музыкант или художник. И даже не дама с камелиями. Просто человек, которого очень любили.

Однако ангел на бронзовой плите, помещенной на мраморный постамент, — один из самых красивых на кладбище. Женская фигурка, обернувшаяся назад с серьезным, может быть, даже философским выражением на лице; длинные волосы взвились, точно подхваченные дующим в спину ветром. Мужчина неподвижно стоит перед ангелом, в то время как дитя резво бежит среди могил, пустившись вдогонку за парой ярких крылышек.

— Смотри, папа! — крикнул ребенок. — Бабочка! Ну до чего же красивая, правда?

Мужчина едва заметно кивает. Красоты для него больше не существует на свете, а в чудеса он давным-давно перестал верить. Откуда же ему догадаться, что вот здесь — именно здесь — произойдет нечто такое, что поневоле поверишь в чудо. В настоящий момент он еще считает себя самым несчастным человеком на свете.

На кладбище Монмартра он познакомился со своей женой. Пять лет назад, у могилы Генриха Гейне. Был светлый майский день, и он был началом истории, которая недавно безвозвратно закончилась.

Мужчина бросил последний взгляд на родные черты бронзового ангела. Он тайно пишет письма. Но скоро произойдет то, что окажется для него таким же неожиданным, каким часто бывает счастье или любовь. А между тем счастье и любовь всегда рядом и никуда не исчезли. Ему, писателю, следовало бы это знать.

Мужчину зовут Жюльен Азуле.

И Жюльен Азуле — это я сам.

Глава 1

МИР БЕЗ ТЕБЯ

Только я сел за стол, чтобы наконец-то выполнить данное обещание и написать письмо Элен, как вдруг в дверь позвонили. Я решил не отзываться, неторопливо отвинтил колпачок вечной ручки и положил перед собой лист белой бумаги. Написал: «Дорогая Элен» — и с каким-то чувством беспомощности застыл над строчкой из двух слов, которые смотрели на меня так же потерянно, как я ощущал себя все последние недели и месяцы.

Что прикажете написать человеку, которого ты любил больше всех на свете и которого по воле рока больше нет? Еще тогда у меня было предчувствие, что я совершаю безумный поступок, давая ей это обещание. Но Элен настояла. А если уж моя жена что-то взяла себе в голову, ее было не переспорить. В конце концов, она всегда умела настоять на своем. Элен была таким волевым человеком. Только в споре со смертью ей пришлось уступить. У смерти воля оказалась еще сильнее.

Звонок повторился. Но я уже унесся в мыслях далеко отсюда.

Я горько усмехнулся. Передо мной, как наяву, возникло ее осунувшееся лицо с зелеными глазами, которые день ото дня становились как будто все больше и больше.

— Я хочу, чтобы ты после моей смерти написал мне тридцать три письма, — сказала она, устремив на меня настойчивый взгляд. — По одному письму за каждый прожитый мною год. Обещай мне это, Жюльен!

— И для чего это, по-твоему, нужно? — возразил я. — Тебя это все равно не оживит.

В то время я не помнил себя от страха и горя. Я день и ночь сидел у кровати Элен, сжимал ее руку в своей, не в силах представить свою жизнь без нее.

— Зачем мне писать письма, зная, что никогда не дождусь ответа? Это же не имеет никакого смысла, — повторял я тихо.

Она сделала вид, что не слышит моего возражения:

— Просто пиши мне. Пиши, что делается в мире без меня. Пиши о себе и об Артюре. — Она улыбнулась, и у меня к глазам подступили слезы. — В этом будет смысл, поверь мне. И я уверена, что в конце концов ты получишь ответ. А я, где бы там ни оказалась, прочту твои письма и уж как-нибудь буду за вами приглядывать.

Я помотал головой и произнес сквозь рыдания:
— Я не смогу, Элен, меня просто на это не хватит!

Сказав так, я, конечно, имел в виду не только эти тридцать три письма, а все вместе. Как я буду жить без нее! Без Элен!

Она ласково взглянула на меня, и жалость, которую я увидел в ее глазах, чуть не разорвала мне сердце.

— Бедный мой муженек, — сказала она, ободряюще пожимая мне руку, и я почувствовал, какого усилия ей стоило это движение. — Крепись, тебе придется быть сильным. Теперь на тебя ляжет вся забота об Артюре. Ты так ему нужен. — А затем повторила то, что уже не раз говорила с тех пор, как на нас обрушился грозный диагноз (вероятно, в отличие от меня, эти мысли ее успокаивали):

— Мы ведь все когда-нибудь умрем, Жюльен. Это совершенно нормально, так уж все устроено на свете. Что поделаешь, если мой черед наступил несколько раньше. Если честно сказать, меня это не особенно радует, но так уж случилось. — Она бессильно пожала плечами. — А сейчас поцелуй меня!

Я отвел с ее лба медно-рыжую прядь и нежно поцеловал в губы. В последние месяцы своей жизни, неожиданно оказавшейся такой короткой, она сделалась такой хрупкой, что, бережно обнимая ее, я испытывал страх, как бы чего не повредить,

хотя на самом деле все в ней уже было разрушено, и только ее дух оставался несломленным — духом она была сильнее меня.

— Обещай мне это, — повторила она, и я увидел, как что-то блеснуло в ее глазах. — Держу пари, что, когда ты напишешь последнее письмо, твоя жизнь уже повернется к лучшему.

— Боюсь, ты проиграешь это пари.

— А я верю, что нет, не проиграю. — По ее лицу пробежала вещая улыбка, веки затрепетали. — И тогда ты принесешь мне огромный букет роз — самый большой из всех, какие найдутся на кладбище — чтоб ему пусто было!

Такой вот была Элен. Даже в самые ужасные минуты она была способна заставить меня улыбнуться. Одновременно плача и смеясь, я взял ее протянутую исхудалую руку и дал слово исполнить просьбу.

Слово писателя. В конце концов, она же не говорила, когда именно я должен написать ей эти письма. И вот наступил октябрь, его сменил ноябрь, а там и декабрь. Грустные месяцы проходили один за другим, сменялись времена года, а для меня все они были одинаковыми. Солнце скатилось с неба, и я остался жить в крошечной-черной яме, где исчезли все слова. Наступил март, а я все еще не написал ни одного письма. Ни единого.

Не то чтобы я не пытался. Я хотел исполнить обещание, последнюю волю Элен. Корзина для

бумаг у меня была доверху набита скомканными листами с незаконченными предложениями. Например, такими:

Моя горячо любимая Элен, с тех пор как тебя нет со мной, я не нахожу...

Дорогая, я так устал от всех этих мучений, что часто спрашиваю себя, стоит ли жить для того...

Любимая, вчера я нашел стеклянный снежный шар из Венеции. Он лежал в твоей тумбочке, в самой глубине ящика, и я невольно вспомнил, как мы с тобой...

Любимый мой человек, самый лучший на свете! Я тоскую по тебе каждый день, каждый час, каждую минуту, знаешь ли ты...

Дорогая Элен! Вчера Артюр сказал, что ему плохо с таким грустным папой, а у тебя ведь там, где живут ангелы, все хорошо...

Элен! Mayday! Mayday!¹ Это крик погибающего. Вернись ко мне! Я больше не могу.

Ангел мой! Сегодня я видел тебя во сне и, проснувшись утром, очень удивился, что тебя рядом нет...

Любимая моя, ненаглядная! Не подумай, пожалуйста, что я забыл про свое обещание, но я...

Но ничего, кроме этого бессвязного лепета, я так и не сумел изложить на бумаге. Я сидел на-

¹ Международный сигнал бедствия, используется в радиотелефонной связи. «Мэйдэй» представляет собой искаженной французское «m'aidez» — «помогите». (Здесь и далее примечания переводчика.)

столько подавленный навалившимся на меня горем, что не находил нужных слов. За все это время я вообще ничего не написал — для писателя в этом нет ничего хорошего, — не по этой ли причине входной звонок заливается как на пожар?

Вздохнув, я снова положил ручку на стол, встал и подошел к окну. Внизу, на улице Жакоб, стоял элегантный, невысокого роста мужчина в темно-синем дождевике, явно решивший не отнимать пальца от кнопки и звонить до победного. Этого я давно опасался.

Мужчина задрал голову к сырým весенним небесам, по которым неслись подгоняемые ветром облака. Я отпрянул от окна.

Это был Жан-Пьер Фавр, мой издатель.

Сколько себя помню, меня всегда притягивал мир изящной словесности. Сначала я работал журналистом, затем писал сценарии. А затем наконец опубликовал свой первый роман. Комедийную романтическую историю, которая, по-видимому, чем-то зацепила читателей и неожиданно-негаданно вдруг оказалась бестселлером. Париж называют городом любви, однако издатели в поисках нового материала не всегда обращают внимание на эту тему. Мне тогда приходил отказ за отказом, а то и вовсе я не получал никакого ответа, но однажды ко мне обратилось маленькое издательство, офис которого был расположен на улице Сены. Жан-Пьер

Фавр, директор издательства «Гарамон», пока его коллеги искали литературные шедевры высокоинтеллектуального направления, заинтересовался моей книжицей, полной неожиданных трагикомических поворотов, отдающей дань романтизму.

— Мне уже шестьдесят три года, и с возрастом меня все сложнее рассмешить, — сказал Жан-Пьер Фавр при нашей первой встрече в «Café de Flore». — А ваша книга, месье Азуле, заставила меня рассмеяться, и это что-то значит в сравнении с большинством нынешних книг. Чем старше мы становимся, тем реже смеемся, можете мне поверить.

С невольным вздохом он откинулся на спинку кожаного диванчика возле окна в зале второго этажа, где для нас нашелся свободный столик. Он развел руками, изобразив комическое отчаяние, и продолжил:

— И вот я спрашиваю себя: куда только подевались все писатели, которые умели писать настоящие комедии с душой и фантазией? Нет, все, видите ли, сговорились описывать настроения безнадежности, гибели, сочинять великие драмы. Все драма, драма и драма! — Он несколько раз хлопнул себя по лбу, обрамленному аккуратной причесанными, уже редкими сединами. — Депрессивные настроения обитателей больших городов, няньки-убийцы, ужас, внушаемый «Аль-Каидой», и тому подобное. — Он смахнул со стола несколько крошек. —

Все это имеет право на существование, и все же... — Наклонившись ко мне через стол, он пристально посмотрел на меня своими светлыми глазами. — Но вот что я вам скажу, молодой человек. Написать хорошую комедию на самом деле гораздо труднее, чем кажется на первый взгляд. Насочинять что-нибудь такое, где нет нагромождения банальностей, и оставить у читателей ощущение, что жить на свете все-таки стоит, — вот в чем заключается настоящее искусство! По крайней мере, я сам уже слишком стар для таких историй, после которых самое лучшее — это отправиться на ближайшую высотку и кинуться с нее вниз головой.

Торопливым движением он разорвал пакетик с сахаром, высыпал его в свой свежесжатый апельсиновый сок и нетерпеливо размешал содержимое бокала.

— Или, к примеру, кино! Возьмем кино!

Он выдержал театральную паузу, а я с нетерпением ждал, что будет дальше. Как я успел убедиться, этот человек блестяще владел искусством риторики.

— Сплошная «Tristesse» и дурацкие амбиции: главное, к чему сейчас каждый стремится, — это представить себя уникальной личностью. А мне-то, понимаете ли, хочется посмеяться. Мне хочется чего-то такого, что затронуло бы мое сердце. — Он приложил ладонь к видневшемуся из-под пиджака

небесно-голубому жилету и сделал большой глоток из бокала с соком; внезапно его лицо расплылось в мальчишеской улыбке. — Вы видели тот японский фильм про мясника, который влюбился в своего поросенка, где они под конец совершают вместе самоубийство путем харакири? Я о том, что ведь надо же было такое выдумать! — Он покачал головой. — Люди походили с ума. Я с тоской вспоминаю таких деятелей кино, как Билли Уайлдер¹ и Питер Богданович². — Чтобы подчеркнуть сказанное, он несколько раз прищелкнул языком. — Остается только надеяться, что Вуди Аллен еще некоторое время продержится. «Полночь в Париже» у него был замечательный фильм, не так ли? Это же зачаровывало зрителя, развлекало, давая пищу для ума, заставляло улыбнуться. Мы с женой выходили после сеанса окрыленные!

Я согласно кивнул, хотя фильма этого не видел.

— Поверьте мне, месье Азуле, жизнь и без того штука невеселая, а потому нам нужно побольше таких книг вроде вашего романа, — закончил он свою пламенную речь и протянул мне для подписи свою фирменную ручку «Монблан». — Я верю в вас.

С тех пор прошло уже шесть лет. Мой роман стал бестселлером, а издательство «Гарамон» под-

¹ Американский режиссер и сценарист (1905–2002), создавший за полвека более шестидесяти фильмов, в том числе «Сабрина», «Зуд седьмого года», «В джазе только девушки».

² Американский режиссер, сценарист и кинокритик (р. 1939).

писало со мной договор на три следующих романа, что обеспечило мне надежную финансовую базу на три года вперед, я получил возможность целиком посвятить себя писательству. Я познакомился с рыжеволосой Элен, которая любила стихи Генриха Гейне и, стоя под душем, распевала песни Саша́ Дистеля¹. Она стала учительницей, забеременела, вышла за меня замуж, у нас родился ребенок — мальчик, которому, как любила подчеркивать Элен, повезло унаследовать мои темно-русые волосы, а не ее рыжие патлы.

Жизнь была светла, как солнечный летний день, и нас во всем, казалось бы, сопровождала удача.

Пока вдруг не обрушилась беда.

— Кровь откуда не следует, — сказала однажды утром Элен, выйдя из ванной. — Ну ничего! Авось ничего серьезного.

Но оказалось, что все как раз серьезно. Да так серьезно, что хуже не бывает. До сих пор я зарабатывал тем, что писал пользующиеся популярностью веселые романтические истории. А тут вдруг мой лексикон пополнился такими пугающими словами, как «колоректальная карцинома», «опухольные маркеры», «цисплатин», «метастазы», «капельница морфия», «хоспис».

Тут я сполна узнал, что жизнь — это не веселое развлечение, хотя Элен и держалась молодцом,

¹ Французский певец и композитор (1933–2004).

а прогнозы поначалу звучали очень оптимистично. Год спустя болезнь, казалось, окончательно отступила. Было лето, мы поехали с Артюром на море, в Бретань. К жизни мы теперь относились как к бесценному дару. Мы ведь чудом спаслись.

И тут Элен начала жаловаться на боли в спине.

— Я понемногу превращаюсь в старушку, — шутила она, кутаясь на пляже в яркое парео.

В это время метастазы разошлись у нее уже по всему телу, впились в него своими клешнями, и изгнать их было невозможно никакими силами. К середине октября все было кончено. Метастазы распались, а вместе с ними и Элен, моя жизнерадостная жена, веселая хохотунья, всегда такая оптимистка, а с ней умерли все наши общие мечты.

Я остался один с маленьким сыном на руках и с тяжелым грузом на душе, с невыполненным обещанием и тающим на глазах банковским счетом. Был уже март, а я уже год как не написал ни строчки, и сейчас у меня под дверью стоял мой издатель, преисполненный желанием узнать, каковы мои дальнейшие планы.

Он прекратил звонить.

Месье Фавр был благородный человек. Все это время он проявлял большое понимание. До сих пор он ни разу не попытался нажать на меня. Он терпеливо ждал, давая мне время оправиться от пережитого, прийти в себя и, как говорится, взять себя в руки. Он ни словом не упомянул о романе,

выпуск которого был запланирован к началу осеннего сезона, а затем, ни словом не упрекнув, отодвинут на весенний квартал.

И только две недели назад он впервые попытался связаться со мной. Как видно, поблажки закончились, да и сколько можно со мной носиться! Сначала осторожные вопросы по автоответчику, который у меня работал круглосуточно. Сочувственное письмо с вопросом в конце. Его номер то и дело высвечивался у меня в телефоне.

Я же отвечал гробовым молчанием, потому что и вправду был ни жив ни мертв. Творческая жилка во мне умерла. Ирония обратилась в цинизм. Я жил как во сне и не желал ни с кем общаться. Да и что я мог бы ему сказать? Что никогда больше не смогу написать ничего стоящего? Что утратил дар слова? Глубоко несчастный человек, подписавший долгосрочный договор на создание веселых романов, — ирония судьбы, да и только!

И кто же это придумал сыграть со мной такую злую шутку, чтобы окончательно меня погубить!

— Драма, драма, драма, — пробормотал я с горькой улыбкой и снова выглянул в окно.

Месье Фавр куда-то исчез, и я облегченно вздохнул. Очевидно, он понял, что бесполезно пытаться.

Я закурил сигарету и посмотрел на часы. Еще три часа, и надо будет идти в детский сад за Артюром. Только ради Артюра я еще как-то существовал. Ради него я вставал, одевался, шел в супермаркет за едой. Разговаривал.

Мальш настойчиво меня теребил. Настойчивость он унаследовал от матери. Он тянул меня ручонками в свою комнату, чтобы показать мне, какую пирамиду он собрал из конструктора лего, ночью приползал ко мне в кровать и доверчиво прижимался всем тельцем, втягивал меня в разговоры, задавал тысячи вопросов, строил планы: «Я хочу в зоопарк посмотреть на жирафов», или «Ой, папа, какой ты колючий!», или «Ты обещал, что считаешь мне вслух», или «А мама теперь легче воздуха?»

Я погасил сигарету и снова вернулся за письменный стол. Я слишком много курю. Слишком много пью. И питаюсь желудочными таблетками. Я вытащил из пачки новую сигарету, с обертки на меня смотрел отвратительный снимок легкого курильщика. Подумаешь! Когда-нибудь и мне придет конец, но прежде я, по крайней мере, напишу это письмо — первое из тридцати трех обещанных, которые казались мне такими же лишними, как зуб на шее. Письма к умершей женщине. Я провел руками по волосам. «Ах, Элен, почему? Почему?» — пробормотал я, уставясь на фотографию в рамочке, стоявшую на кожаном покрытии письменного стола.

Динь-дон — раздался квартирный звонок, я вздрогнул от неожиданности. С перепуга дернул цепочку старомодной зеленой настольной лампы

и погасил включенный еще ранним утром, а сейчас бесполезный электрический свет. Кто бы это еще мог быть? Через секунду кто-то заколотил в дверь кулаком:

— Азуле! Азуле! Откройте! Я знаю, что вы дома.

Ну да, я сидел дома в моем добровольном заточении на четвертом этаже. Мне вдруг вспомнилось, как несколько лет назад мы с Элен впервые зашли сюда в сопровождении маклерши и очутились среди голых стен старинной квартиры. Из полученного гонорара мы смогли заплатить тогда первый взнос. Маклерша говорила, что о такой квартире можно только мечтать: солнечная, расположенная на тихой улице в двух шагах от бульвара Сен-Жермен. «Однако без лифта, — заметила ей Элен. — И когда постареем, нам придется изрядно попыхтеть, карабкаясь вверх по лестнице». Мы все посмеялись: старость казалась тогда еще так далеко.

Даже странно, о чем только иногда не задумывается человек, а в действительности все оказывается не так, как ты предполагал.

Значит, Жан-Пьеру Фавру каким-то образом все же удалось проникнуть внутрь дома и с легкостью преодолеть все лестничные пролеты.

Вероятно, позвонил в какую-нибудь из соседских квартир. Только бы не к Катрин Баллан, у которой на всякий случай хранился запасной ключ от нашей квартиры. Катрин была любимой подругой

моей жены. Она жила в квартире под нами, одна с кошкой Зази, и старалась помочь мне, как могла. За пять дней до смерти Элен она все еще верила, что та поправится. Иногда Катрин присматривала за Артюром, и они часами играли в карточную игру под названием «Уно», хотя в чем ее смысл, я так и не разобрался. Катрин была безмерно добра, но и сама слишком сильно горевала по Элен, чтобы утешить меня в моей утрате. И хуже того: иногда ее вздохи «Ах, Жюльен!» и печально-выразительный, как у Жюли Дельпи, взгляд доводили меня до того, что я просто не мог уже этого вынести.

Не хватало только, чтобы я расплакался ей в жилетку, нет уж, благодарю покорно!

— Азуле, Азуле! Перестаньте же, наконец, ребячиться! Я только что видел вас в окне. Откройте дверь! Это я, Жан-Пьер Фавр, ваш издатель. Вы еще помните? Сколько можно держать меня тут на лестнице! Я только хочу с вами поговорить. Откройте же!

Стук в дверь повторился.

Я притаился за столом, как мышь. Удивительно, с какой силой может стучать этот маленький человечек с идеально ухоженными руками!

— Не можете же вы вечно прятаться в своей норе! — снова прозвучал голос за дверью.

«Еще как могу», — возразил я мысленно.

Подкравшись на цыпочках к двери, я прислушался, в надежде, что сейчас на лестнице раздадутся

его удаляющиеся шаги, но оттуда не слышно было ни звука. Наверное, мы оба стояли под дверью: он — снаружи, я — внутри, и напряженно прислушивались, затаив дыхание.

Затем послышался шорох отрываемой из блока страницы. Через несколько секунд под дверь был просунут листок.

«Азуле! С Вами там все в порядке? Пожалуйста, ответьте мне хотя бы, что у Вас все хорошо. Вы можете мне не открывать, но я не уйду, пока Вы не подадите хоть какой-то знак, что Вы живы. Я беспокоюсь за Вас».

Очевидно, он уже представлял себе, что я стою на стуле, засунув голову в петлю, как страдающий депрессией герой одного из его любимых фильмов — «Хлеб и тюльпаны».

Невольно улыбнувшись, я крадучись вернулся за письменный стол.

«Все в порядке», — написал я печатными буквами и просунул листок в дверную щель.

«Почему же тогда Вы не открываете?»

Подумав секунду, я ответил: *«Не могу»*.

Тут же пришел обратный ответ: *«Что значит — не можете? Вы не одеты? Или пьяны? Или Вы в обществе дамы?»*

Я схватился рукой за рот, плотно сжал губы и помотал головой. В обществе дамы! Только Фавр способен употребить такое старомодное выражение.